П. Д. БОБОРЫКИН

Избранное

FB2: “MCat78 ”, 21 May 2012, version 1.0
UUID: b9998bbc-a311-11e1-aac2-5924aae99221
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Петр Дмитриевич Боборыкин

В Москве – у Толстого

«Мое личное знакомство с Л. Н. Толстым относится к пятилетию между концом 1877 года (когда я переехал на житье в Москву) и летом 1882 года.

Раньше, в начале 60-х годов (когда я был издателем-редактором „Библиотеки для чтения“), я всего один раз обращался к нему письмом с просьбой о сотрудничестве и получил от него в ответ короткое письмо, сколько помнится, с извинением, что обещать что-нибудь в ближайшем будущем он затрудняется...»

Содержание

I 0005
II 0012
III 0018

Петр Дмитриевич Боборыкин
В Москве – у Толстого

I

Мое личное знакомство с Л. Н. Толстым относится к пятилетию между концом 1877 года (когда я переехал на житье в Москву) и летом 1882 года.

Раньше, в начале 60-х годов (когда я был издателем-редактором «Библиотеки для чтения»), я всего один раз обращался к нему письмом с просьбой о сотрудничестве и получил от него в ответ короткое письмо, сколько помнится, с извинением, что обещать что-нибудь в ближайшем будущем он затрудняется.

В те годы и раньше я уже много слышал о нем рассказов и в литературном кругу Петербурга, особенно от А. Ф. Писемского, и в семействе кн. Д[ондуко]вых-К[орсако]вых, с которым он сошелся за границей.

И для меня его личность, фигура, лицо, тон разговора, разные особенности нрава были уже довольно близки. Одна из княжон Д[ондуко]вых часто рассказывала мне и представляла даже в лицах, как он ходил к ним запросто по вечерам (это было в Брюсселе), очень часто играл в четыре руки, читал им те вещи

для народного чтения, которые он готовил тогда для своего деревенского журнала. А петербургские писатели, вроде того же Писемского, называли его «Левушка Толстой», распространялись больше всего о его тогдашних «разносах» неприятной ему шекспиромании и обличениях своих старших собратов по беллетристике в напускных якобы эстетических восторгах.

Ко второй половине 60-х годов от князя Л. И. Урусова слышал я рассказ о том, как он ехал с Толстым по железной дороге, как Л. Н. был отрицательно настроен ко всему политическому движению тех годов и – между прочим – хвалил ему мой роман «Земские силы», оставшийся недоконченным с прекращением «Библиотеки для чтения» в начале 1865 года.

Вот, вероятно, и все.

«Исповедь» его (я ее читал в корректурах, кажется добытых от С. Л. Юрьева) впервые вызвала во мне усиленный интерес к его задушевной жизни, привлекла меня своей искренностью, заохотила к желанию личного знакомства.

Счетом у меня было всего три свидания с

Л. Н. в Москве, все в том же доме, или сначала в наемном, но в той же местности, если не ошибаюсь. Вперед оговариваюсь, что, быть может, хронологическая последовательность этих трех свиданий и не вполне точна; но они все три принадлежат к одной и той же полосе его саморазвития в смысле выработки религиозно-нравственного идеала.

Попал я к Толстым в приемный день, вечером, но прошел прямо на половину графа, и в том, что происходило в зале и гостиной, не участвовал и никому там представлен не был.

Застал я у него несколько человек мужчин, и в памяти моей остались два его собрата: Фет и Аполлон Майков. Фета я видел тут в первый и единственный раз в жизни, и меня довольно-таки удивило, что *тогдашний* Фет-Шеншин оказался близким приятелем Льва Николаевича.

Майкова я знал давно, с самого моего приезда в Петербург, в зиму 1860–1861 года. Я часто его встречал у Писемского. Майков приходился родственником его жены и жил в том же доме, на одной площадке с Писемским. То-

гда Майков еще читал на публичных вечерах *либеральные* стихотворения; а к тому времени, когда я нашел его у Толстого, он успел уже превратиться по своей «платформе» почти в то, что теперь зовут «черной сотней», с налетом церковности.

Признаюсь, я мечтал не о таком «антураже» автора «Исповеди». Он тогда уже прошел через острый кризис. Это могло быть в период интимного знакомства с Сютаевым, но вряд ли еще дальнейших грозных протестов против господствующей церкви, какие раздались позднее, когда происходила более радикальная ломка всего, что не было чистым учением «Иисуса из Назарета».

Разговор шел о спиритизме, и Л. Н., кажется, тогда интересовался им. Помню фразу Майкова, произнесенную с чинной усмешкой, насчет которой любил часто прохаживаться их общий приятель Григорович.

– Хорошо и то, что и это приводит к тому же.

То есть: не веря в загробную жизнь и к догматам ортодоксального христианства.

И хозяин и Фет-Шеншин сочувственно

улыбались. И весь разговор, подробности которого не сохранились достаточно в моей памяти, шел в таком же духе и на; правлении.

Л. Н. был тогда по-внешнему добрый «мужчина средних лет», как говорится в таких случаях, с незаметной проседью, если она и завелась уже, лицо – неопростившееся совершенно, но уже с очевидным нежеланием подчиняться не только моде, но и обязательной для хозяина открытого дворянского дома корректности. На нем, поверх рубашки, без жилета, был надет короткий пиджак. А так как в комнате делалось жарковато, то он скинул его и остался в рубашке. Как раз в эту минуту вошла к нам хозяйка спросить, подавали ли нал чаю. Она сделала шутливое замечание мужу – насчет его костюма, на что он добродушно ответил, что в комнате слишком жарко, и пиджака не надел. Кажется, это немного сконфузило графиню.

Я видел ее тут в первый и последний раз. Она была тогда еще очень видная женщина, с красивым обликом, легкой походкой и приятным тембром голоса, элегантная, в туалете.

Она тотчас же удалилась к тем гостям, ко-

торые остались на ее половине.

Иметь с Л. Н. особый разговор мне не удалось в тот же вечер; но его тон, особенно по сравнению с его обоими приятелями, действовал обаятельно. Никаких суровых тирад в смысле обличения фальши и суетности общества он не говорил и не высказывал еще того отношения к искусству, изящной литературе и к своим собственным произведениям, каким переполнены были его речи впоследствии, и довольно скоро после этого. Мне кажется, он стоял именно тогда на перепутье и к полному внешнему опрощению, и к выработке себе полного credo, после того как окончательно стряхнул с себя *временное* возвращение к православию, с какого он начал.

Как проходила довольно шумная вечеринка на половине графини, где была все больше молодежь, – не заинтересовало меня настолько, чтобы я решился провести там остаток вечера. Я только прошел по тем комнатам в переднюю и мог схватить лишь общую физиономию этого помещичьего дома в приемный день.

Ничто тут даже не намекало на то, что вы

в доме великого писателя, который вырабатывал себе целое новое миропонимание, готовился быть вероучителем и производить в душах своих соотчичей и обитателей обоих полушарий, ломку их религиозных и этических исповеданий веры. Просто дворянский дом, где-нибудь на Плющихе, или на Сивцевом Вражке, или в Староконюшенном переулке, у богатых помещиков, проживающих зимой в Москве, где много детей, где собирается молодежь, музицируют, играют в petits jeux[1], болтают за чайным столом.

В этом было что-то бытовое, чисто русское: полное отсутствие того «священнодействия», каким семья какой-нибудь западноевропейской знаменитости непременно наполнила бы весь ритуал жизни дома в дни приемов. Не только не отзывалось все это обиталищем «вероучителя», но и автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». И об этих произведениях и в кабинете хозяина не было при мне сказано ни слова.

II

Второй разговор происходил также зимой, но уже в другой обстановке. Не знаю, было ли это в том же самом доме; но припоминаю хорошо двор и – налево – крыльцо со двора, как в старинных помещичьих домах. В сенях стоял почему-то самовар. В передней какой-то служитель, вроде кухонного мужика, спросил меня, кого мне угодно видеть. Вошел в переднюю мальчик-подросток – один из сыновей, – и когда услыхал мою фамилию, то сейчас же попросил меня к отцу. Вероятно, я предупредил Л. Н. о своем посещении.

Меня провели к нему, в его рабочую комнату. Надо было подняться во что-то вроде антресоля. Комната была довольно просторная, с невысоким потолком и смотрела более мастерской, чем благоустроенным барским кабинетом. Окна выходили в сад.

Процесс опрощения уже сказывался во всем, начиная с блузы хозяина. Писал он за небольшим столом. На ставне у входа висело платье и еще что-то – все «простецкое», как бы у мастерового или зажиточного мужика.

Затрудняюсь сказать, что, главным образом, вызывало во мне желание быть у Л. Н. именно в тот раз, но я отчетливо помню: это был визит ему, только ему, я не имел намерения быть вхожим в дом, сойтись с его семейством, посещать их вечера.

И так случилось, что он сам тут же, в начале разговора, стал с тихим юмором и откровенностью (которая показывала, как он сделался далек от рода жизни и привычек своей семьи), говорить на ту тему, как «господа» безобразно живут, как они жестоко относятся к своей прислуге, как вообще они «беса тешат».

– Я вот на днях говорю своим дамам: «Как вам не стыдно так жить?» Костюмированный бал у генерал-губернатора… Разрядятся и оголят себе руки и плечи. Им с полгоря: под шубой и в теплых комнатах… А кучер-старик должен на двадцатиградусном морозе ждать их до четырех часов ночи. Хоть бы к нему почувствовали жалость.

Это вступление дало тон и всей дальнейшей беседе. Вы уже имели дело с человеком, который как раз в ту полосу своей жизни про-

ходил через страстное отрицание всего суетного, себялюбивого, хищного и бессмысленного, чем сытые господа услаждают свое праздное существование. И в том, что предметом его обличений явились сейчас его же «дамы», не было ничего удивительного.

Вспоминаю, что мне хотелось слышать от Л. Н. о его знакомстве с Прудоном, который жил в Брюсселе, эмигрантом, как раз в то время, когда Толстой и семейство кн. Д[ондуко]вых-К[орсако]вых проживали также в Брюсселе.

Прудоном я в первой половине 70-х годов немало занимался, в особенности его судьбой, личной житейской дорогой, дружескими связями и самыми кровными интересами, что так ярко и обильно содержится в его обширной корреспонденции (до 14 томов), которую я в те годы обработывал в «Вестнике Европы» в целом ряде статей, не подписанных моим полным именем.

К идеям Прудона, особенно к его обличениям буржуазного государства, Толстой мог и тогда, в Брюсселе, иметь симпатию, да и к личности Прудона, ко всему демократическо-

му складу его натуры, к его спартанским правилам, к моральному аскетизму, который сидел в этом французском мужике.

И вот это именно обращение к памяти о Прудоне (о котором, насколько я припоминаю, я не услыхал от Л. Н. каких-нибудь особенно ценных подробностей) вызвало во мне желание коснуться вопроса, который позднее сделался камнем преткновения для тех, кто хотел бы видеть в каждом поступке вероучителя полное соответствие с сутью его проповеди.

Это – вопрос о нем, как об имущем, даже богатом помещике, о его наследственных владениях, о том, почему он, хоть сам и опростился, допускает, чтобы его семья *на его средства* проживала доходы с земли, которая, по его убеждениям, должна была бы целиком принадлежать тем, кто ее обработывал. Тогда уже начались в интеллигентных кругах такие толки, и мне, относившемуся симпатично к его социальным протестам, было неприятно чувствовать и сознавать, что тут есть несомненное противоречие и что *такому* человеку нельзя защищаться тем, что это его

личное дело. Его жизнь и его поступки принадлежали уже всем, кого он призывал к другим этическим и общественным, идеалам.

Разговор о Прудоне дал мне прямой повод сказать Л. Н. следующее:

– Вы знавали Прудона. В своей семейной жизни он был настоящий французский мужик. И если б он был ваших нетерпимых взглядов на барскую собственность, он не стал бы отговариваться тем, что не желает никакого насилия над близкими людьми, а заставил бы их отказаться от дарового пользования земными благами, которые они сами не заработывали; не только не позволил бы он им проживать то, что сам имел, да и их-то наследственной собственностью запретил бы им пользоваться, считая ее узурпацией и воровством.

Подлинного ответа Л. Н. я не записал; но он, вероятно, ответил мне так же, как и многим другим, даже и гораздо позднее, когда его отрицание всякого имущественного захвата пошло еще дальше. Он должен был согласиться со мною в том, что Прудон поступил бы так, как я говорю, и не стал бы смущаться

тем, что не имеет якобы права лишать «своих» того комфорта, к которому они привыкли. Прудон был настолько мужик, что обедал один, а жена ему прислуживала.

Л. Н. принципиально не защищал себя, прекрасно сознавая, что нельзя этого сделать без натяжки; он как бы признавался в своей слабости к близким ему существам, хотя, как мы видели, и способен был и тогда так откровенно и даже беспощадно указывать на их образ жизни, который поддерживал ведь теми средствами, какие шли от *него* же.

Я испытал на себе обаяние тона и манер Л. Н., когда он желал быть тем, что француз называет: «un charmant»[2]. Спорить с ним не хотелось. Спора у нас и не вышло. Но я вынес тогда такое чувство, что *лучше* будет читать то, что выйдет из-под его пера, чем рисковать в дальнейших беседах нежелательными их осложнениями.

III

Последнее мое посещение Л. Н. было летом 1882 года.

Тогда я задумал поездку на Волгу и, уже заинтересованный сектантским движением, попросил Л. Н. дать мне письма к крестьянину Сютаеву и к кому-нибудь из выдающихся молокан где-нибудь на Волге, с которыми он находился уже в сношениях. И они считали его тогда еще своим «братом во Христе». Это было еще до появления в печати его окончательного profession de foi[3], где «Иисус из Назарета» является только учителем божественной правды, а не второй «ипостасью Божества». Позднее, когда я подробнее изучал религиозную жизнь молокан (главным образом, в Рязанской губернии), собирая материалы для своей повести «Исповедники», я нашел уже у молокан и баптистов совсем другое отношение к Толстому. Некоторые прямо считали его «антихристом».

Сколько помнится, Л. Н. принял меня в комнате, которая напоминала ту, где я его нашел вечером с Майковым и Фетом. Окна вы-

ходили, кажется, в сад. Как будто Л. Н. оставался один в городе. Я что-то не помню, чтобы в доме была и семья его.

Он мне дал записку к Сютаеву и к одному влиятельному молоканину в Самаре. С Сютаевым мне почему-то не удалось видеться, а самарского молоканина я нашел больным, в постели, но он много со мной беседовал. В коротком письме Л. Н. называл его «братом» и писал ему на «ты».

Тогда он находился, как мне думается, в самом *остром* кризисе своего писательского «отступничества», если мне позволят это выражение, которое я считаю в данном случае совершенно правильным. Он, как говорится, «и слышать не хотел» о возвращении к писательской работе художника. Не предвидел он тогда, сколько раз придется ему нарушать этот обет художнического «абсолютизма», браться и за перо автора «Анны Карениной», кроме своих поучительных писаний, в разное время давать такие вещи, как «Крейцерова соната», «Хозяин и работник» и, наконец, «Воскресение». Да и теперь, уже на самом крайнем склоне своего пути, он не открещи-

вается более от замыслов чисто беллетристических вещей и пишет их, вероятно, с такой же любовью, как и в былое время.

Тогда вот я и услыхал от него характерную фразу насчет своего писательства, которую имел уже повод привести в печати. Когда я выразил сожаление насчет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так:

– Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состаревшейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: «Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки!»

При этом он перед словом «француженка» употребил крепкое русское словцо. И это было сказано в добродушном тоне, с таким спокойным юмором, что оставалось только... принять это без всякого протеста. Но было все-таки неловко слышать от самого Толстого приговор творческой работе автора «Казаков», «Анны Карениной» и «Войны и мира». Если все это можно было сравнить с кафе-шантанными куплетами, то что же оставалось каждому из нас для оценки собственной

писательской работы?

Но жизнь сильнее, и она незаметно довела Л. Н. до измены тогдашнему своему аскетическому запрету, временно наложенному на самое великое и неумирающее, что было и есть в его жизни и творческой душе, чем он так обогатил историю всемирной изящной словесности.

С тех пор мы не видались. Несколько зим мы жили одновременно в Москве. Но я не ездил в его дом, не искал и бесед с ним с глазу на глаз. Его духовная эволюция (извиняюсь за это неприятное ему слово) пошла по такому пути, что избежать принципиальных разговоров, а стало быть, и прений, было бы невозможно, особенно при известном темпераменте. Я уже раз сказал Л. Н., что спорить с ним не могу и не хочу. А являться просто в качестве посетителя знаменитости я тоже не находил отвечающим тому образу поведения, какое я, в моей долгой жизни, усвоил себе со всякими знаменитостями.

И мне было часто очень неприятно за нашего великого писателя от постоянной болтовни о нем в обывательских домах разного

сорта в Москве в те годы, от которой нельзя было никуда уйти. И все эти, даже и самые частые, посетители ничего действительно ценного не сообщали о нем. А большинство воспоминаний, заметок, писем о посещении Ясной Поляны часто носили на себе, да и теперь еще носят, такой подслащенный тон, который и самому яснополянскому мудрецу вряд ли может быть приятным.

От лиц, близких Л. Н., я слыхал, что его отношение ко мне, как его младшему собрату по беллетристике, оставалось сочувственным и для меня лестным во всех смыслах. Фактическое подтверждение этого я получил тотчас после избрания меня в почетные академики.

Когда я делал визит покойному Сухомлинову, тогда председателю «разряда изящной словесности», он сообщил мне «конфиденциально», что Л. Н. на записке, которую тогда подавали или посылали до баллотировки шарами, вместо шести имен, написал только одно – мое, сделав при этом особенно лестное для меня замечание.

Я счастлив тем, что могу кончить этой нотой мои слишком скудные воспоминания. Я

хотел унести из жизни образ автора самых прекрасных произведений родной литературы.

Москва, февраль 1908 года.

Примечания

1

салонные игры *(фр.)*

[^^^]

2

очаровательный *(фр.)*

[^^^]

3

изложение взглядов *(фр.)*

[^^^]